

Гений

*Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон...
А.С. Пушкин*



Поздно вечером у нас раздался звонок. Звонил лоточник Алексей, с которым Давид когда-то сотрудничал в недавнем книгоиздательском прошлом. Пьяным заплетающимся голосом он пытался спросить у Давида о Павле Шарове, который работал у них грузчиком, – действительно ли тот гений? С третьей попытки ему это удалось. Давид слегка удивился неуместности вопроса, но подтвердил факт одарённости юноши. Алексей удовлетворённо повесил трубку. Примерно через полчаса снова звонок и – ещё более заплетающимся языком – тот же сакраментальный вопрос: так гений или не гений?

– Гений, гений, – раздражённо ответил муж.

– А... Эт-то, что, у в-вас уст-танавливают? – озадаченно уточнил лоточник.

– У нас. Если ещё насчёт кого надо будет выяснить – звоните.

Через час снова звонок с тем же вопросом.

– А в чём, собственно, дело? – спросил Давид. – Почему это вас так волнует?

– А то! Он грузчик, ему работать надо, а он тут уверяет, что он гений. И всё норовит стихи свои читать.

Откуда-то из недр подсобки послышался оправдывающийся голос Пашки:

– Я не гений. Я просто пишу стихи...

– Паша! – закричала я в отводную трубку. – Немедленно прекрати пить! Иди спать. Попроси, чтоб тебя там где-нибудь положили. Зачем ты здесь вообще?!

– Наталья Максимовна, я не по своей вине, не по своей воле... Хотите, я Вам стихотворение прочту?

–Ты что, охуел? – раздался чей-то голос. – Телефон мобильный.

–Вот тут говорят, что я охуел, – извиняющимся тоном сказал поэт.

– Иди спать! – рявкнула я. Связь оборвалась.

Видимо, он что-то не так понял, ибо в двенадцать часов ночи раздался звонок – на этот раз в дверь. Вдрабадан пьяный гений, еле держащийся на ногах, весь мокрый (шёл дождь) и грязный (падал по дороге), робко промолвил: "Положите меня где-нибудь, пожалуйста..." В памяти всплыли строчки Л. Губанова, которого он нам принёс недавно:

Прошлое! Пусти меня, пожалуйста, на ночь!
Это я бьюсь бронзовой головой в твои морозные ставни.
И закрой меня на ключ, от будущего напрочь,
Умоляй, упрашивай, может, лучше станет...
Прошлое! Я просто пришёл погреться!

Ну как непустишь? Правда, "положить", то бишь уложить Орфея нам с Давидом удалось не сразу. Пашка всё пытался высвободить гитару из чехла и спеть свою новую песню. И не успокоился, пока не спел.

– Нравится?

– Нам-то – да. Но вот соседям...(Было уже полпервого ночи). Упав ещё пару раз (на кухне – головой об раковину и в комнате – с дивана), он, наконец, отрубился, попросив поставить будильник на шесть утра.

Я вдрабадан, как таксист, после дня за баранкой,
Пьян августовскою ночью. А утром – вставай!
Ноги в ботинки, и шаркай, облаянный шавкой,
Не опоздать бы – в 6.30 – на первый трамвай...

На рассвете будильник разбудил всех, кроме Пашки. После моего бужения, сначала деликатного – словом, потом более активного – трясением за плечо, гений наконец продрал глаза. Первое, что он вспомнил из вчерашнего – это свою песню, которую он снова попытался спеть. За завтраком похвалил мой форшмак, сказав про него: "вкусное мясо", от манной каши отказался, выхватив у меня молоко и одним махом его выпив, (оставив нас тем самым без каши),

после чего, наконец, ушёл. А мы отправились досыпать.

Я снова достаю папку с его стихами и с тайным сомнением перечитываю знакомые строки – а ну как ошиблась, преувеличиваю, раздуваю мыльный пузырь? "Вдруг вся песня, в общем-то, мелка? Вдруг в ней всё ничтожно будет, кроме этого мучительного, с кровью: "граждане, послушайте меня!" – как писал Евтушенко?

Не спится, не спится, бессонное ложе
Моё одиноко, тоской изойду
(за рамой так ветрено и непогоже).
В оконном проёме, у всех на виду,

Я встану – и, дабы продлить песнопенье,
С наивной надеждой на шаткий успех
Я горько воскликну: помедли, мгновенье!
Хочу я пропеть эту песню для всех.

И чем дальше читаю, тем больше растёт и крепнет внутри знобящее, праздничное ощущение причастности к настоящему, подлинному. Нет, не ошиблась. Поэт. Поэт в каждой строчке. Приговор окончательный и обжалованью не подлежит.

Я не просто слышу, я чувую нутром этот Хаос, в котором
Рождается музыка, я разбираю одну тональность –
– и песни мои в соль-миноре.
Я лечу в неизвестность на бешеном скором
Поезде жизни (читай – на каталке в прозекторском коридоре).

Да, стихи его звучат в основном в этой тональности, что многим не по вкусу. В них много того, что раздражает бодряков-оптимистов, шокирует ханжей и коробит чистоплюев. Жесткие, резкие, совсем не поэтичные слова, вряд ли они ублажат чей-то слух. Есть категория читателей, которые хотят, чтоб им "сделали красиво", которые ищут во всём гармонию. Им будет неуютно в стихах Шарова. Но в поэзии, как и в жизни, есть вещи поважнее красоты. В этих стихах есть правда. Беспощадная правда.

Рифма банальна, как жизнь и как смерть.
Кто это выдумал – небо и твердь?!
Нет ничего – только вечность.
Чёрные дыры. Ничто и Нигде.
И не дано ни единой звезде
От темноты уберечь нас.

Вечная ночь, где отсутствует свет.
Вечная правда, где есть только "нет" –
Самое страшное слово.
Время, Пространство – всё в точке одной,
Это наш мир, никакой не иной –
Нету на свете иного...

Восхищает свобода самовыражения. Он не думает, о чём будет писать, не вынашивает замыслов, не "высиживает" стихов. Просто поёт, как птица. Что видит, то поёт. У него нет бездумности и поверхностности акына, осмысленность и глубина присутствует в каждом стихе, но при этом какая органика, лёгкость дыхания, естественность тона! Поэзия – из ничего, из воздуха. Жизнь как она есть.

Солнце уходит на запад.
Гари бензиновый запах
Ослабеваает под вечер.
Мокрым своим языком
Дождь полусонно лепечет,
Только не знает, о ком.
Прямо младенец. На крыши
Мокро-блестящие – рыжий
Падает отблеск зари.
Включатся после заката,
Как на шинели солдата
Пуговицы, фонари.
Как разгадать этот ребус:
Едет куда-то троллейбус –
Дуги свободно повисли.
Это, наверное, сон.
Я не забочусь о смысле,
Просто пою в унисон
Дождю. И, засыпая,
Вижу, как искры трамвая
(сей электрический конь
Бойко бежит своим рейсом)
Сыплют на мокрые рельсы
Точно бенгальский огонь.
Пригород. Царство окраин.
Выйдешь один, неприкаян,
И, отсыревшие спички
Вынув (ох, пагубна власть
Этой дурацкой привычки),
Чиркнешь, затянешься всласть.

Он – частица этого мира, он неотделим от своего времени. Можно сказать, герой этого времени, которое отражает, как в себе ощущает – предельно честно и адекватно.

Время зажато в клещах темноты.
Я полуночник и с ночью на ты!
Щерится звёздным оскалом
Жуткая бездна, и пёс на цепи
Брешет на ветер руками сцепив
Голову с тусклым накалом
Мысли, я жду, что захлопнется пасть
Хроноса, ибо ложится не в масть
Карта грядущего. Ибо
В мире, как прежде, горланят: "Распни!",
Души людей – обгорелые пни,
Правят верёвка и дыба.
Господи Боже! Бетонный подъезд –
Гробом. Увы, не под силу мне крест.
Злобный, бесчувственный идол
Янус двуликий – холодный январь –
Взор отвращает. Гляжу в календарь:
Кто меня времени выдал?!

Он – плоть от плоти этого города, где родился и вырос. Мы привыкли воспринимать патриотическую лирику вне отрыва от деревенских полей, лугов и берёзок. Шаров – урбанист. Герой его стихов – город. И это не тот благолепный Саратов, знакомый нам по подарочным открыткам и песням местных композиторов. Это жестокий город-монстр, город-призрак, во многом незнакомый и пугающий, город, увиденный глазами поэта:

Увы, я родился не в сельской избе,
Но в городе – в гадком роддоме.
Так было угодно нелепой судьбе.
И нечего, кроме
Асфальта, бетона и сутолки дня,
Мне вспомнить. Однако,
Хотя любви к городу нет у меня,
Привязан к нему, как собака.
В трамвае, меняя чело на мурло,
А имя – на номер талона,
Трясусь я и вижу: от дыма свело
Черты небосклона.
И кажется мне, будто рельсы вот-вот

Сойдутся, пороча Эвклида,
И в ужасе я, столбенея как Лот,
Увижу, как в царство Аида
Обрушился мир...

* * *

Мир неподсуден и жесток.
Вон солнца огненный желток
Через трубу соседней кровли
Перевалил, слепя глаза, –
То день, застрявший костью в горле,
Не хочет жать на тормоза!
Он сразу же берёт в полон,
И Время мчится под уклон
На бешеном автомобиле...

* * *

Пронесется "хонды", "ниссаны", "тойоты" –
Летят, как акулы, вдоль рифов-обочин.
Я знаю, душа человека ни йоты
Не стоит в наш век, что цинизмом источен!
Вот ночь навалилась. И сердце всё чаще
Колотится в рёбра. Как воздуху мало!
Здесь города джунгли, и в каменной чаше
Кипит вакханалия лжекарнавала!

Его поэзия тревожна. В ней – слом эпохи и жёсткость времени. Рванный пульс, аритмия, асфиксия, режущие ухо диссонансы – без этого наша эпоха плохо представима. Поэт, как сейсмограф, чутко ощущает все её подземные толчки и катаклизмы.

Город асфальтово-потный, в сизо-бензиновой мгле,
Бредит о ливне кислотном, как наркоман об игле!
Липкую сажу природа больше не в силах глотать.
Вот изменилась погода: дождь начинает блевать.
О наслажденье обманом! На поражённой земле
Все мы теперь наркоманы, все мы сидим на игле!

* * *

Шприц телебашни. Неба мякоть.
Инъекция радиоволн.
Готов бежать от мира я хоть
Куда (о, мне б только вон!)

Но куда убежишь от всего этого?! Как от себя – никуда.

Безлюден проспект, где людей муравейник
Кишит день-деньской (только тьма его стёрла).
Я собственной тени безропотный пленник,
Ночною тревогой набитый по горло.

* * *

...Город призрачен и в потёмках жуток.
Лунный в облаке на ущербе серп.
Неподсуден мир – это кроме шуток! –
Хоть и страшен он, и жестокосерд.

...Город призраков, город монстров –
Как хрипит он в петле погостов!

Дистанция между лирическим героем и автором минимальна, можно сказать, её нет вообще. И это подкупает. Блок говорил: "Чем человек талантливей, тем полнее судьба его отражена в его стихах." В стихах Шарова я чувствую его судьбу, узнаю его жизнь до мельчайших подробностей, не только душевный мир, но и его быт, тот самый "стопудовый земной быт", который пожирал бытие Цветаевой, и у Шарова он не менее ужасен, с его продавленным матрасом в "полутёмном, слепом углу", с урчащим пустым холодильником, когда луна в окне кажется "глазуньей на сковородке неба", и многим таким, в чём не принято, но в чём он не боится бесстрашно признаваться.

...Ну, чего тебе надо, запойная юность?!
Ты прошла, не оставив рубля – похмелиться нечем.
А сестра моя жизнь под забором очнулась, –
Тишина, да такая, что слышно, как колет печень.
Ну а небо, как ни банально, синее-синее – аж до рези.
И палата с решёткой мне светит не красным и даже не жёлтым –
Светит давно зелёным, потому что я креси,
Потому что мне самое место в домике жёлтом...

* * *

...Зимой Кузьмой, а летом – Филаретом
Зовут меня, поскольку я с приветом
Пришёл в сей мир сказать, что солнца диск
Разбился вдрызг!

Ах, вовсе не в божественной нирване –
Я был зачат папашею по пьяни.
Кому-то Сирин – фраер и прохвост, –
Мне Алконост

Поёт: "Ты человек второго сорта,
Уж лучше б стал ты жертвою аборта!"
Я посетил общественный сортир –
Юдольный мир.

Во всём я поступаю против правил,
Сейчас вот пью, когда-то наркоманил.
Блестит мне сквозь туман кремнистый путь –
А толку чуть!

Он, как огня, боится пафоса, неверной, выпрренной ноты. У него обострённое чутьё на фальшь, благодность, ему нравится разбить близорукому прекраснотушию розовые очки. Поразительно стихотворение об ангеле, который явился людям средь бела дня в самом центре города, –

Где Проспект упирается в "Липки" и церковь,
А напротив готика – шпиль "консервы"
И фланируют молодые стервы, –
В сердце города, в уличном шуме, гуде,
Где в упор не видят друг друга люди...–

а его никто не заметил, поглощённый своими делами и заботами, никто в него не поверил, не обрадовался, настолько это неуместно в нашей сегодняшней жизни.

Этот ангел благой – что в его молитве?
Да и сам я, думая о пол-литре,
Очи долу потупил, сочтя за признак
Сумасшествия – ангела в светлых ризах.

Шаров не рядится в тогу романтического героя. Дитя городских окраин, обитатель хрущёвки, завсегдагай шалманов, выкормыш глухих дворов и ночных подворотен, он знает жизнь не с парадной стороны.

Кто сказал, что я безумец, что лишился я ума?
Я дитя полночных улиц, где нет света, только тьма,
Где горит лишь мой окурок – полуночный светлячок.
Кто сказал, что я придурок, кто сказал, что дурачок?

Почему-то верится, что после подобных строк сказать сие никто не решится. А вот он – может, и не такое:

"Счастье обрящем
В вечном покое."
Вечно быть спящим?!
Да за такое
Йоты не дам.
Эй, идиоты!
Это я вам!

Вызов. Вызов тем, чья душа в сытом покое, кто пронесется мимо в "ниссанах" и "тойотах", обдавая его грязью, всему этому "внешнему миру", что "скалит зубы и с наглой миной ни во что не вменяет божественный голос лир."

...А я, прозябая, бычкую сигарку
И жду я трамвая, а не иномарку.

* * *

...Выходишь в предвечерний сумрак,
Закат берёт на ржавых струнах
Души растерянный аккорд,
И прячешь от пощёчин ветра
Лицо (оно само есть "ретро"
Средь новомодных рыл и морд.)

"Каждый выбирает для себя, – писал Ю. Левитанский, – женщину, религию, дорогу." Шаров сделал свой выбор, кем быть в этом мире."И вот тогда мне стало страшно, – признался он как-то нам с Давидом. – Ведь, как сказал Борис Рыжий, "не заработаешь на этом и цветов не купишь никому." Но у него другая точка отсчёта, другая система координат, иная шкала ценностей, непонятная новым хозяевам жизни.

Талант – тот фундамент, который в ломбард
Увы, не заложишь. При помощи карт
Не спустишь. Он требует крыши
И стен. Но при этом, считая их вес
За собственный, он от излишних словес,
Ему же дарованных свыше,
Так может осесть, что похерит певца
Его же оружием: начало конца
Находится точно в прицеле
Системы, лежащей от координат
Декарта настолько, что лишь наугад
Бредя, доберёшься до цели.

Он бредёт наугад, ориентируясь по своему внутреннему душевному
компасу, движимый чутьём поэта.

Монетой солнце золотое
Скатилось в кошелёк небес,
Платив за день такой ценою,
Но просчиталось: день исчез!
...и вновь на ярмарке вселенной,
По кругу – миллионы лет –
Оно монетой неразменной
Платило за бесценный свет.

* * *

...Ах, времени не скажешь: "Чуть помедли..."
Знать не хочу – век долог будет, нет ли.
Не выкипела кровь пока из жил.
Но я б хотел, как в волосы – репейник,
Вцепиться в жизнь (плевать, что нету денег!),
Постигнуть скрытый ход её пружин.

* * *

...А деньги где?! Их не было и нет!
С моею жизнью их вражда непримирима!
Уже на протяжении многих лет
Они всё время проплывают мимо.

Могу служить – ну нету ни гроша! –
Безденежья классическим примером.
Но если б денег стоила душа –
Я был бы уж давно миллионером!

* * *

...Аукнутся в потомках
Мечты людей о том, как
Остаться в барыше.
А я, как древний замок,
Рвом окружённый, замкнут
На собственной душе.
Готовлюсь я к осаде.
Психея! Бога ради,
Не оставляй меня.

Не оставляй его, Боже. И хочется сказать ему его же словами:

В этой жизни, игре без правил,
Ты корявые строчки правил.
Дай же Бог, чтобы ты оттаял
Сердцем. Ибо, лишь звук ко звуку
Подбирая, земную муку
Отгоняешь. как злую муху.
...Ну, а пока это варево ночи
Пей по глотку, не спеша,
Чтобы не очень, чтобы не очень
Твоя цепенела душа.

И мне тоже верится, как и ему,

Что в механизме извилин все ржавые мысли
Сменит Господь-часовщик (он при лупе-луне).

Как-то после одной из лекций я получила письмо от моей постоянной слушательницы. Она писала: *"Милая Наталья Максимовна, как это Вы с такой чистой светлой душой, с такими дивными, светлыми стихами, – как*

это Вас хватает на искреннее восхищение и любовь ко всем, всем им – со всеми их вывертами, к бродягам и пропойцам..." Я вспомнила героев своих вечеров, которые могли навести её на такие размышления: Франсуа Вийон, Поль Верлен, Артюр Рембо, Борис Поплавский, Николай Рубцов... Да, не ангелы. И жизнь их – далеко не образец для подражания. Но я преклоняюсь перед талантом в любом его облики, ибо важен не сосуд, как считал Заболоцкий, не его форма и чистота, а огонь, в нём мерцающий. У меня есть стихотворение о поэте Сергее Чудакове, прожившем отнюдь не праведную жизнь, но стихи которого меня поразили. Я даже сочла нужным подготовить о нём лекцию, которую назвала: "Никому не известный гений", и которую начала вот с таких посвящённых ему строк:

Алкаш, библиотечный вор,
Мошенник – поискать по свету,
Наркоделец и сутенёр,
Но был он гением при этом.

И хоть прошёл за кругом круг
Этапы жизни самой скотской, –
Его воспел великий друг
И антипод Иосиф Бродский.

Знаток культуры мировой,
Тусовок светских завсегдатай...
Но не осталось от него
Ни фото, ни последней даты.

Один литературовед
Собрал, что было, по крупичкам:
Пивнушка... В ёлочках паркет...
Тюрьма... Психушка... Царство шприца...

Его бесцветное пальто,
Плывущее куда-то в Лету...
Его стихов не знал никто.
И всё-таки он был поэтом!

Не положительный герой?
Капризна Муза, как и слава.
В её избранниках порой
Не Иисусы, а Вараввы.

Она не отвергает дно,
Не презирает низких истин

И всё прощает за одно:
Талант, когда он бескорыстен.

...Читаю Чудакова я
И строк постыдных не смываю...
Теперь лишь Бог ему судья.
Литература мировая.

Чудаков был истинным юродом, соединявшим в себе плутовство, талант и сумасшествие. Он сам вывел формулу своей жизни:

Амплуа сутенёра,
Продолженье отбора,
Положенье актёра
На подмостках позора.

Но с Музой он был безупречней, чем с людьми. Муза, как и слава, часто благосклонна не к путёвым и политически грамотным, а к обитателям социального дна. Её не смущают в избранниках ни бомжовые привычки, ни пьянство, ни пороки, ни посещение публичных домов. Дух дышит, где хочет. Даже там, где, казалось бы, дышать нельзя.

В чём-то символично, что познакомил нас с Павлом Шаровым именно Чудаков. Это было на поэтическом вечере в "Камелоте", где я прочла это своё стихотворение. Не сомневаясь, что публике об этом поэте ничего не известно – ни одной строки его не было опубликовано, я вскользь упомянула о стихе Бродского, посвящённом ему – таком, кстати, сложном по лексике и синтаксису, что я, сколько ни учила его, не могла запомнить. И вдруг слышу из-за соседнего столика: "Ну почему же, знаем:

Тщетно драхму во рту твоём ищет угрюмый Харон,
Тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно..."

Я просто потеряла дар речи. "Как кошмарно они начитанны, как отталкивающе грустны..." – вспомнилась песня Вероники Долиной о "советских сумасшедших". А этот худенький лохматый очкарик, брызжущий интеллектом, продолжал шпарить наизусть – Бродского, Ходасевича, Мандельштама, сражая очередного выступавшего пиита каким-нибудь метким замечанием, точной к месту цитатой, убийственной репликой. "Блистательный Шаров", как называл его ведущий вечера поэт Игорь Алексеев, он меня сразу заинтересовал, огорошил, но не понравился поначалу – шла от него какая-то агрессия, негатив, дисгармония, от чего душе хотелось инстинктивно отгородиться. Но когда он начал читать... Всё это стало уже не важно. Стихи победили инстинкт самосохранения. Они были сильнее. Он читал – как хлестал

– наотмашь, под дых, в самое сердце.

Твой каждый стих – как чаша с ядом,
Как жизнь, спалённая грехом.
И я дышу, хоть и не надо,
Нельзя дышать твоим стихом,

– писал Тарковский. Вот и я дышала. Его стихи были – как соль на раны, но это было целебней иного бальзама на душу.

О верхний – запредельный – ярус
Небес! По лестнице какой
Взойти?.. Не алый – чёрный парус
На мачте времени. Рекой –
Вся в язвах от мазута, нефти –
Плывём, верней – плывём трубой
Канализационной. Негде
И нечем жить, дышать. "Отбой"
Пора трубить – да нет горниста,
Горниста-ангела, чтоб чисто
Взял ноту – верхний ре-диез
Болезненный, точь-в-точь порез
Глазного яблока – и шарик
Земной наш вытек, как хрусталик, –
Глазница Господа пуста,
И Космос – чёрная повязка, –
Такая жалкая развязка...
...А может быть, один из ста
Есть шанс нам уцелеть и выжить?
Но как невыносима явь!
Шепчу во тьме я: "Отче, иже...
Помилуй нас. Прости. Наставь
На путь – он крестный, а не рылом
В дерьмо... Ещё молю за тех,
Кто не стерпел: верёвку – мылом,
И всё... Прости им смертный грех. "

Я купила его книжку. Паша был растроган. Оказывается, я была единственной его покупательницей, весь тираж он раздарил друзьям. Написал: "Первому покупателю моей книги". Дома я открыла её и забыла обо всём.

...Поймите: мне тесно и душно – и я
Не сходства ищу, но различья
Меж мною и миром, который во мне
С тех пор, как я чувствую тело.
Душе остаётся пристанище вне
Земного предела!

На меня стремительно и неудержимо нахлынул мир другого человека, поглотивший всю целиком, как волна в 10-балльный шторм островок суши. Я не находила себе места: то кидалась перепечатывать его стихи, то писать о них статью неведомо куда, то звонить знакомым, обчитывая их этими стихами, то опять углублялась в книжку. В конце концов написала ему письмо "по горячим следам", где высказала всё, что думаю и чувствую по поводу его строчек, которое вручила при встрече. Он не ожидал всех этих слов, что прочёл. Реакция была бурной. Позвонил ночью из котельной, где тогда работал:

– Спасибо Вам за письмо. Мне за всю жизнь ещё никто никогда такого письма... Пришёл вчера в "Камелот". Там говорят: "Постой пока минут 10, если народа не будет – войдёшь. " Стою, курю. Читаю письмо. Улыбаюсь, как дурак. И мне уже всё равно, пустят меня в этот "Камелот", не пустят... Пришёл домой, поцеловал Ваше письмо. Если б у меня был сейф нескораемый, я бы его туда спрятал, и пусть бы всё сгорело, только б оно осталось... Я рыдал над Вашим письмом. Если нас когда-нибудь жизнь разведёт по разные стороны баррикад – я всё равно никогда не забуду того, что Вы написали.

А что я такого написала? Что он поэт. Что для меня это аксиома. Что у его стихов есть будущее. Потом всё это я повторила на его вечере в Доме искусства и науки. Вечер прошёл с небывалым для здешнего учреждения триумфом. Закончился он аукционом, на котором Пашкины книги буквально рвали из рук, предлагая цену вдвое большую стартовой. Корнилов объявил тогда аукцион вроде бы в шутку, но покупать кинулись всерьёз. Последняя пачка из семи книг в считанные минуты была расхватана.

...И сведётся вся жизнь к беспощадному торгу,
И придёт нелюбовь со звериным оскалом,
И, грызя одиночества чёрствую корку,
Я пойду наугад по безлюдным кварталам.
И как зверь, за которым по следу – собаки,
Буду путать следы. И – совсем уже нищий –
Вскоре стану бомжом, и в помойные баки
Буду лезть, чтоб добыть хоть какой-нибудь пищи.
Я беседовал с Богом – ан вышло, что с чёртом.
Надрывается мозг, как свихнувшийся зуммер.

Разлетается "я", точно лужа под "фордом",
Вдрызг на тысячи брызг, на осколки безумья.
На душе обострённое чувство заката.
Этот день был последним, и жизнь – костью в горле.
Напоследок взгляни, зафиксируй стоп-кадром –
Завтра ангел сыграет побудку на горне...

Он не притворялся, не позировал, не играл. Он был готов до конца идти по своей губительной дорожке.

...О Цезарь, я иду. На смерть. Физкульт-привет!..
Ну ладно, хватит; чай, покуда ты не падаль,
Кто из людей – ответь – кто рылом в грязь не падал?
Всё заживёт до завтра. Дрожит твоя рука,
Бежит строка – куда? Впадает, как Ока
Впадает в Волгу. Что ж, все движемся мы к устью –
Чего – знать не дано. И вот я с резкой грустью
Вдруг вспомнил – но забыл. А темень – глаз коли.
Архангел-Михаил отдаст команду: "Пли!" –
Не очередь взвод, а из мортиры выстрел
Раздастся в темноте, – и солнце, точно вымпел,
Поднимет на руках небесный гарнизон,
И озарится вдруг в час ночи горизонт,
Ядром же буду я; пробью я лысый череп
Луны, прошью насквозь; вернусь обратно через
Мгновения-века... Да, был я на луне!
И я не лгу, а лжёт лишь память обо мне.

Моя память не лжёт. Она помнит всё до мелочей. Даже то, что, может быть, и не стоило бы помнить: каким бывает поэт и гений, пока его "не требует к священной жертве Аполлон".

Хорошо помню тот телефонный разговор. Говорили о моей книжке, которую я подарила Павлу с надписью: "Надеюсь, что жизнь не разведёт по разные стороны баррикад." Он только что прочёл "Реквиемы".

– Я просто говорить не могу. "И сердце на куски не разорвалось", – не помню, откуда эти строчки?

– Это Тютчев. На смерть Денисьевой. "О Господи, и это пережить! И сердце на куски не разорвалось..."

– Да, точно! А стихотворение "Всё умерло, и только память..." – это самое сильное стихотворение в книге, я считаю, оно смело могло бы войти в любую антологию.

Позже Паша положил этот стих на музыку и решил выступить с новой песней на моём творческом вечере. Несколько вечеров мы у нас репетировали.

Особенно запомнился один.

Пашка, в очень идущем ему тельнике с засученными рукавами, угнездившийся между баррикадами книг, в которых зажат микрофон, выводит гробовым голосом: "Всё умерло. И только память..." Я – с наушниками, похожая, по его мнению, "на радистку Кэт", записываю на магнитофон. Делаем несметное количество дублей. Бард периодически просит налить ему пустырника (за неимением валерианки), поскольку, как уверяет, "разволновался." Поясняет: "Она на спирту." Наливаем раз, другой, третий. Чувствую, дело именно в "спирту." Потом вопрос ставится прямо: "У вас какой-нибудь алкоголь есть?" Давид наливает шкалик водки, которая у нас стояла, кажется, лет десять, сейчас уже такой не делают. Хвалит: "Вкусная." Просит повторить. Я в замешательстве. "Наливайте, наливайте, не стесняйтесь." Однако я всё же "стесняюсь". Не много ли? Говорю, что это скажется на качестве исполнения. "Наоборот." Протягивает мензурку из-под пустырника: "Налейте хоть сюда." Налила было, выбрав меньшее зло, но останавливает осуждающее Давидово: "Что уж ты! Это уж слишком" (при молчаливой поддержке Пашки). Водка постепенно исчезает в глотке певца.

В результате – оживлённые разговоры, пение до двенадцати ночи. Напеваю раз, другой, что пора. В полпервого наконец понял и обиделся: "Ну хоть чай я допить могу?" Потом просит денег на дорогу.

–Десять? Не хватит. Сейчас ничего не ходит.

Даю двадцать.

– Завтра отдам. Впрочем, боюсь, сейчас ничего не ходит, я ничем не уеду, придется опять к вам возвращаться...

Давид: "Может, тогда останешься, у нас переночуешь?" Через мгновение он уже спал.

Час уже третий, а может, и пятый.

О, твой полночный бред...

На крестовине окна распятый,

Ты не воскреснешь, нет!

Утро придёт – и сомкнутся ресницы.

Мир станет мил и прост.

К тебе прилетят твои райские птицы –

Сириин и Алконост.

Утром порывается уйти.

– Да подожди, сейчас завтракать будем.

– Тогда я пока за сигаретами схожу. Давайте заодно Линду вашу выгуляю.

Возвращается с сигаретами, но без Линды. Она где-то потерялась.

– Я её звал, она не пошла. И с земли ест всякую гадость.

Я машу рукой – ладно, сама придёт. Она у нас самостоятельная.

Готовлю завтрак.

– Ты какую кашу любишь – сладкую?

– Сладкую. Но вы делайте, какую вы хотите, – спохватившись.

– Но мне – сладкую, – уточнил веско.

Предлагаю сосиски. Благовоспитанно отказывается:

– Я уже сыт. – И тут же сдается:

– Ну ладно, только одну. С горчицей, – уточняет.

– Может, с соусом?

Минутное замешательство.

– Ладно. Одну – с горчицей, другую – с соусом. Две дадите?

Баночка с горчицей на исходе. Неодобрительно качает головой.

– Дайте ложку.

– Вот ножик. (Думала, он на кончик ножа её возьмёт.)

– Да разве ножом положишь?

Ложечкой выскреб всю горчицу так, что она погребла под собой сосиски.

Сверху всё это обильно полил соусом. Я с ужасом смотрела на это адское блюдо. Съел, не моргнув глазом, и вылизал всю тарелку, как Линда, до блеска.

Дайте псу мосол – желательно с мясом, –
Я его обглодаю, положу в уголочек,
А потом мы вдвоём с бескрылым Пегасом
Галопировать будем по рытвинам строчек.

Ставлю на стол селёдку, разделанную в селёдочнице. Он придвигает её к себе, вооружившись вилкой.

– Вот тарелочка.

– Зачем же пачкать тарелку? – недоумённо. Через минуту селёдочница пуста. Мы с Давидом только облизнулись. Завариваю чай.

– Можно, я сделаю себе чай, какой хочу?

– Ради бога.

– Мне нужен бокал, куда переливать. Ситечко есть? И пачка чая. Ложек пять. Не жалко?

Священнодействует над чаем. Жуткая, почти чёрная жидкость.

– И сахар. Ложек восемь. Чтобы убить горечь.

Наслаждается чаем.

– Попробуйте! – Мы с Давидом дружно отказываемся.

Когда я вернулась на кухню – он сливал из чайника кипятки в кувшин.

– Чтобы была вода.

Я опешила:

– А мы-то что пить будем? Мы-то ещё чай не пили.

Обескуражен.

– Я хотел как лучше...

После его ухода заглянули в холодильник: "Шаровым покати" – как выразился один местный остряк. Но за талант хотелось простить всё.

Как-то дали его книжку Ю. Сидоренко, издателю. Через несколько дней тот звонит:

– Спасибо вам за Шарова. Какой силы стихи! Я всё время их перечитываю. Какие мысли, метафоры! Это большой поэт. Может быть, даже гений. Я даже не подозревал, что такие есть в Саратове. Как бы с ним познакомиться?

Вскоре такой случай представился. Мы пригласили их обоих. Но Пашка даже не попытался понравиться издателю. Он пришёл с чекушкой, к которой беспрерывно прикладывался, с кассетой какого-то барда, которой всех замучил, заставляя слушать, безумолку говорил, сыпал цитатами, не давая никому вставить слова. Даже не догадался похвалить стихи Сидоренко, когда тот их прочёл, встретил неприличным молчанием. Тот долго не засиделся. Потом при встрече Давид спросил его: "Ну как тебе наш поэт?" – "Как все гении, слушает только себя..."

Да, что верно, то верно, прорваться сквозь Пашкин монолог было трудно. Невольно вспоминался А. Белый, который заговорил однажды Ходасевича до обморока. И пока того приводили в чувство – рвался в дверь, крича, что ещё чего-то недосказал. Особенно это касалось пения. Когда Шаров пел – так же, как и когда пил – он не мог остановиться. Хотя честно предупреждал: "Вы мне только скажите: "заткнись", и я тут же заткнусь". Когда он приходил с гитарой – все наши планы летели в тартарары. Первые часа два-три мы слушали, и не без удовольствия: Высоцкий, Галич, Визбор... Репертуар Пашки неисчерпаем. Потом эти песни начинали уже, что называется, лезть из ушей. Я гладила бельё – он пел. Я, извинившись, уходила на кухню – он доставал и там. Давид, как Ходасевич, уже замордованно свешивался головой с кресла – он всё не унимался. Где-то ближе к полночи опомнился: "Я, кажется, вас слегка утомил?"

Да, не полюбить его было нельзя, но вытерпеть – невозможно. Мы, однако, привыкли к причудам "гения", и если он не звонил или не появлялся больше недели – уже начинали беспокоиться: как там Пашка? Уж не случилось ли чего? А случалось беспрестанно: то в милицию заберут – в шалмане концерт устроил, то бумажник с документами потеряет, то в костёр упадёт на пикнике, то – что самое взрывоопасное – влюбится. И – вороха стихов. Ни одного визита не обходилось без нового стихотворения. Когда кто-нибудь из нас его читал – никто другой в это время не имел права пикнуть, Пашка шикал на каждого, кто нарушал тишину, и сам замирал, как ящерица, не сводя напряжённого взгляда с читающего его опус, словно от этого зависела вся жизнь.

Есть у него стихотворение, которое мне очень близко, поскольку оно о собаке:

Вошёл в трущобный двор – в груди
Заныло: сука злая,

Ощерив пасть, "не подходи!"
Кричала, горько лая.
О материнская вражда!
Она меня на клочья
Порвать хотела, вся дрожа
От ярости. И прочь я
Бежал позорно: кто двуног,
Уже по крови связан
С тем человеком, чьим КАМазом
Раздавлен был её щенок.

Это стихотворение я бы назвала ключевым, в котором ключ ко всему его творчеству. Ответственность. Совесть. Жалость. Душа. Вот четыре кита, на которых держится его поэзия.

А рядом калека, упёрся в костыль,
Истёртый от сотен исхоженных миль.
Лицо у него – точно сноска
На беды людские. В протяге руки
На грубой ладони дрожат медяки –
Их щёки натёрты до воска.

Он в ответе за раздавленного КАМазом щенка собаки, за нищего калеку, за старушку-побирушку, которая

Ходит в церковь над Шексною,
Где святой Борис и Глеб,
И беззубою десною
Мнёт заплесневелый хлеб.
Пред иконой да лампадкой
Шепчет: "Господи, спаси",
Побирается украдкой
На кормилице Руси.

А в другом стихотворении образ этой нищей старушки вырастает в трагический образ России, поруганной нашей Родины:

Россия – нищею старушкой
(Да, нет былого благолепия

В её чертах: она в отрепья
Одета, стала побирушкой)
Бредёт; а тут ночного клуба
Огни, но свет очей потух,
И на скамейку возле клумбы
Присела, переводит дух,
А рядом парень хлещет пиво,
Я вижу, это "Бочкарёв", –
Отдал бутылку ей лениво,
И вдруг – зауспокойный рёв, –
Летит, мигалками моргая,
Авто ночного патруля.
Россия, боль преодолевая,
Встаёт – не чья-нибудь земля,
А наша, слышите, вы, наша!..
Товарищи иль господа,
Терпенья – рюмка или чаша? –
Бездонна, в этом вся беда.
Чего намеряла ты, меря?
Чего ты учудила, чудь?!
Летит на красный белый "мерин",
А следом "бэха"... Входит в грудь
России смертная истома, –
Со лба рукою пот стереть,
Идти, ползти – но только дома,
Не в подворотне околеть!
И вот розовощёкий дядя
В пальто двубортном – киллер, что ль? –
Суёт червонец ей, не глядя
В глаза. О Русь моя! Доколь
Ты будешь где-то на задворках,
Чужая всем. Твой тяжёлый Крест:
В набитых до отказа моргах
Те, кто не дожил до невест,
Те, кто погиб в горах Кавказа.
Не скажешь в наши времена:
"Твой ход, как чёрная зараза,
Губил, ничтожил племена",
"Смирись, Кавказ, идёт Ермолов".
На теле Родины нарост,
Гнойник. И нет таких уколов,
Чтоб излечить. И лишь погост
Растёт, жиреет – ряд за рядом

Могилы свежие. О Русь!
На небо ли таким парадом
Ты маршируешь?.. Не берусь
Судить Чечню. Тебя, Россия,
Судить не смею: я твой сын.
Пусть вечно длится литургия
Твоих берёз, рябин, осин.
Кому-то – родина иная,
А мне – Руси иконостас.
О Богородица, я знаю,
Ты молишь Господа за нас.

Это стихотворение родилось у Паши после нашего разговора о стихах Рубцова, его патриотической лирике. На другой день он позвонил из котельной и прочитал его звенящим от волнения голосом, грассируя чуть больше, чем обычно. У меня мурашки побежали по коже от восторга.

– Нравится?

– Очень.

– Я хочу посвятить его Вам!

Он подарил мне экземпляр этого стиха с припиской: "Только Вам я обязан этим стихотворением, Вы знаете, почему." Это стихотворение дорого и ценно для меня ещё и тем, что оно – не дежурное, не показушное, не умильное или пафосное, как у наших записных "патриотов", что он, по словам Иртеньева, "не рвёт рубаху на груди, и в нос не тычет вам портянки как символ веры и тоски." Однажды в газете появилась ругательная статья о стихах Шарова. Возмутил не сам факт критики, а её вздорность, бездоказательность, незамысловатость. Объединив поэта на скорую руку с другим автором – прозаиком(!), ничего общего с Шаровым не имеющим, критикесса походя, как бы между делом, чуть ли не брезгливо разделалась с молодым дарованием, не взяв на себя труд повнимательней вчитаться, вникнуть, понять. Особенно меня разозлило одно место в конце статьи, где она цитировала, прекрасные по-моему, строчки, привожу их полностью:

И когда над душою – махровою полночью
Колыхается бред, точно веер, и тьма беспроглядна,
К сердцу руку прижать бы, но – полно, чью?!
Я не зарюсь на счастье: живу – и ладно.

Какие чувства вызывают эти строки? Сочувствие, сопереживание, жалость, печаль? У критикессы они исторгли следующую фразу: "Утешает, что о своих бытовых проблемах – а они ужасны! – поэт возвещает скромно: "Я не зарюсь на счастье: живу – и ладно." Вот что её утешает, оказывается. Его скромность.

Негромкость его боли, его проблем. А меня вот не утешает. А я вот хочу ему счастья. А таким, как эта, хотела бы ответить словами того же Шарова из другого стихотворения:

Кепчонку надвину на уши и руки
Упрячу поглубже в карманы, ах, суки,
Вы смерти желали птенцу и котёнку,
Но если мой дух проявить, точно плёнку,
Откроются дальние горы и страны;
Небесной, не знаю, дождусь ли я манны,
Но дух мой, как голубь, сорвавшийся с крыши,
Взметнётся под облако – выше, всё выше.

Как-то он мне сказал по телефону: "Вы одна меня понимаете." А я ответила: "Когда-нибудь тебя будет понимать весь мир." (Вспомнился Георгий Иванов: "лучший поэт мира и его окрестностей".) Нет, это кроме шуток. Нет пророка в отечестве. Ван Гог при жизни не продал ни одной картины, а теперь попробуй купить его самый небрежный и неумелый ранний рисунок. Никто не знает истинной цены произведенного художником продукта, только время назначает цену.

О своём я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На ещё безмятежном челе,—

писала Ахматова о Бродском. А я вот вижу на Шаровском – далеко не безмятежном – челе – клеймо удачи. Может быть, она будет выражаться не в чём-то реально-материальном, а в экзистенциально-метафизическом, на уровне цветаевского "а зато... А зато – всё!" Но это "всё" у него будет. Уже есть.

Так может быть, судьбе на милость
Без боя сдать? Счастье снилось,
Кружило голову, а вьяве
Жизнь беспардонна и нелепа,
Но я – по грудь в помойной яме –
Держусь за небо.

Восхищает лаконизм, точность слова, ёмкость мысли, что ни строка – отлитая формула.

Апрель. Страдает белизна.
И чувства, что несёт весна –
Суть неродившиеся дети.
И в свете солнечных лучей
И ты ничья, и я ничей.
А может, нас и нет на свете.

* * *

...И чужа в жизни смерти дольку,
Обоим он ни нет, ни да.

* * *

...Пусть мелят жизни жернова,
Душа жива, душа жива!

А вот это уже классика:

Окно, открытое ветру,
И влажная ночь. Навсегда
Я принял тебя, как веру.
Бессмысленных дней череда
Закончилась. Ярок и светел
Стал мир: я прозрел наконец.
Так грудью ложится на ветер
На крылья вдруг вставший птенец.
Да, так воскресают из пепла.
Нет больше других берегов.
Ты – вера моя, что окрепла,
Пройдя через девять кругов.

Цветаева писала: "Я не верю стихам, которые льются. Рвутся – да!" Эти стихи – рвутся. Рвутся из глубины сердца. Буря, натиск, стремительность, страсть. Какая напряжённость речи, звуковая, ритмическая, эмоциональная энергия! Это поэт пронзительной душевной муки.

Проклинай же себя, ты один лишь виновен
Перед всеми во всём!, упивайся виною.
Ну и что из того, что душа твоя вровень
С наглым ветром, с бесстыжею этой луною?!

Это поэзия обречённая, гибнущая, почти зовущая на помощь.

Оказалось, всегда может быть ещё хуже – хуже намного,
Это как вход в бесконечность, и в мире вшивом,
Где молил о помощи Господа Бога,
Не поможет никто – ни Христос, ни Шива.

Порой его захлестывает отчаяние, ужас безысходности, кажется, нет выхода из этого лабиринта одиночества в толпе ("о толпы бесконечноголовая гидра!")

...Я Бога звал на помощь, звал и беса –
Ответа нет. Кругом листвы завеса.
И не найти мне выхода из леса.

* * *

...В собственных я заблудился речах,
Небо не смог удержать на плечах
И сатанею в январских ночах!

* * *

Сорок градусов грусти. Запаян ты в колбе
"Я"; с тобой – оглянись! – никого нету рядом.
Возвещаешь об этом ты *urbi et orbi*,
Но пропитан твой слог одиночества ядом.
Я не верю тому, кто сказал, что в квадрате
Человек, если он одинок. Эта степень –
Мука адова! Можно подумать о брате,
О сестре – не поможет: один ты, как стебель...

* * *

...И серная меня б согрела спичка –
Но жизнь моя, сестра-эпилептичка,
В падучей бьётся – пена изо рта!

Кажется, беспросветней уж быть не может, но нет, каждый новый стих доказывает, что "может быть хуже, хуже намного", и всё глубже погружаешься в

эту Достоевщину, и тебе уже ни дыхания, ни воздуха не хватает.

...Ах, Господь! Я в душевной коме.
Ни во что я не верю, кроме
Смерти, – страшен мне гроба ящик,
Ибо вымер мой дух, как ящер.

* * *

... Что может быть проще, чем сесть на иглу,
Затеяв со смертью шальную игру,
Судьбу под конец остограмить,
Черкнув пару строчек на память?

* * *

...Что жизнь? Да просто к смерти повод,
Как поворот в замке ключом.

* * *

...Я законы бытия нарушу,
Оттого, что тянет, как магнитом,
Неизбежность смерти. И подбитым
Волочит крылом хранитель-ангел.
Жизнь идёт ко дну, как будто танкер,
Полный под завязку чёрной нефтью
Дней, сыгравших в поддавки со смертью.

* * *

...Стынет кровь, но тебя в ней любой анализ
Обнаружит, как некий вирус,
Когда я напоследок, как пёс, оскалюсь,
Из подъезда пойду на вынос.

Помню, когда я эти стихи впервые прочла – поняла, что должна его разыскать. "Если этот человек что-нибудь с собой сделает – я себе этого не прощу", – была одна мысль. Я ничего не знала – ни адреса, ни телефона. Звонила общим знакомым, оставляла свои координаты. Копила слова, которые ему скажу.

– Да ты-то тут причём? Кто ты ему? – говорил Давид.

– Как это кто! Я стихи прочитала! Разве этого мало? Ведь должна же у нас быть какая-то круговая порука.

Но даже стихи о смерти у него – это живые стихи, с живой болью, с мощной энергетикой, и веришь, что это лишь мертвый сезон, за которым последует новая жизнь, что вирус любви к жизни в них сильнее соблазна небытия, что он обязательно победит, перевесит.

...На стыках рёбер, как состав,
Грохочет сердце. Никотином
Отравлен мозг... Перелистав
Жизнь, вижу: дух, страстей горнило
Пройдя, окреп. Сей стиль смешон?
...Ещё не высохли чернила,
А я из мёртвых воскрешён.

Иногда он мне показывал какое-нибудь своё стихотворение, вроде: "Намылить верёвку – и амба! Погаснет настольная лампа..." И спрашивал: "Хорошее?" И я не знала, что ответить. Да, хорошее. Но лучше б его не было, этого хорошего! То есть того, что его породило. Лучше уж плохое, чем **такое** хорошее! Я вспомнила, как Ахматова показала матери свои стихи, а та расплакалась: "Я поняла одно: моей дочке плохо."

Протест – вот что вызывали у меня эти его "смертельные" стихи. И похвалить их – всё равно что сказать: "Хорошо мучаешься, классно страдаешь". Сказать – не пиши, – нельзя, ведь он, когда пишет их, освобождается от тяжести. Сказать – живи по-другому? Не думай об этом? Смени угол зрения? Возьми нотой выше? Мне было тяжело от этих его стихов. И беспомощно. Хотелось, чтобы в его жизни произошло что-то такое, что рождало бы совсем другие строки.

Я написала ему в письме: "Понимаешь, это у каждого – "у каждого в шкафу свой скелет". Как писал Гандлевский: "Каждый сам себе отвори свой ад, словно дверцу шкафчика в душевой." Не надо её отворять, будь она проклята. Не зацкливайся на этих мыслях."

Он ответил мне стихом. "Он Вас порадует." И посвятил его мне.

Не умирай, живи ещё, покуда
С юродивою песнею у рта

Душа жива, надеется на чудо,
И дверь в кабинку ада заперта.
Накликал оттепель... Помянем тех, кто не был,
Не посетил сей мир. Минут же роковых
Хватает за глаза. Пенять на Небо,
И злобно выть, и пить за четверых...
Не в этом дело... Прокуратор вынес
Свой приговор. "Распни его, распни!"
Но Царствие Его пребудет ныне
И присно, и вовеки. Сохрани,
Господь, не тело и не душу – речью
Остаться дай (я пред Тобою чист), –
Пускай течёт по правому предплечью,
По кисти – в пальцы, чтобы этот лист
Заполнить. "Смерть – разлука, но и только."
С юродивою песнею у рта
Пусть не душа жива, а только долька
Души. Но дверь кабинки заперта.

Поэту всё впрок. Горе, обиды, нужда, одиночество – всё в корм этому коню
– Пегасу.

Только довольно страхов. Я так напуган,
Что мне уже и не страшно ни капли.
Вот найду обязательно пятый угол
В четырёх стенах – пусть глаза ослабли –
И забьюсь в этот угол, а там будет счастье,
Пусть хоть маленькое, но моё, пушистое, как котёнок.

Я выискиваю в его стихах эти пушинки счастья, крупинки радости, тем
заметнее на общем беспросветном фоне, чем гуще тьма. "Чем ночь темней, тем
ярче звёзды."

Проклюнул я скорлупку сна
И вылупился в мир с рассветом.
Гляжу – за окнами весна
Покончила с февральским бредом.

Туман рассеяли ветра,
Лучистый мир в окне напротив
На зренье действует с утра,
Как бударажущий наркотик.

И я на миг, пока во мглу
Опять не погрузился разум,
Прильну к оконному стеклу
Почти с молитвенным экстазом.

* * *

Я помню тот домик: укрывшись за гребнем,
Он был прихорошен гребёнкою леса,
Глазел он на берег, усыпанный щебнем, –
Весёлый разбойник, шельмец и повеса.
В нём ветер распахивал двери как веер,
И запахи ночи хватал он, дуряя.
Пергаменты волн семенили на север,
И я выбегал прочесть их скорее!
Рискуя упасть, в зеленеющем мраке
По круче спускался я тропкою зыбкой,
Но тут загорался во тьме лунный бакен
И нежно маячил мне жёлтой улыбкой!
Тянуло от берега запахом дыма,
И смехом солёным тянуло оттуда.
Слезались глаза, и за маревом зримо
Мерещилось чудо...мерещилось чудо...

* * *

И город по-над Волгою,
Покончив с зимней, долгою
Морокой, стал моложе.
На крыльях юго-западный
Несёт апреля запахи,
И солнце строит рожи.
И с зимнею одеждою
Покончено, с надеждою
Следят за ртутью в оба –
А сколько там по Цельсию?
По снегу, солнце, целься и
Расстреливай сугробы!
И кажется, что оттепель
Приносит счастье – вот теперь

(все верят в эту сказку)
Жизнь наконец устроится,
Даст Бог ещё до Троицы,
А может быть, на Пасху!

Цветаева признавалась в своей "дурной страсти": искушать людей (испытывать) непомерностью своей правдивости. И многие этого испытания не выдерживали. Шарову это тоже было свойственно. "Я Вам такое о себе расскажу, такое, – свистящим шёпотом страшал он меня, – Вы меня на порог пускать не будете!" Но он всё уже рассказал в своих стихах. Я читала их – и у меня было чувство воскресения – не его – меня, прежней, настоящей, подлинной. Я всегда стремилась быть собой, всей собой, хотя чаще всего этого не следовало делать. И часто действовала себе во вред, когда писала отчаянно-обнажённые письма вместо ожидаемого обдуманно женского поведения. Так не добиться любви мужчины. Так не добиться любви читателей – большинства читателей, которые ждут "уж рифмы – розы, на вот, возьми её скорей!" Так вот не "на", а вместо этого прочтут у Шарова: "иди на..." ("Ухмыльнётся Парка и скажет: "иди на..."). Но есть другая любовь – та, что над жизнью. Есть любовь ангелов, Бога. Или чёрта, Дьявола, что в данном случае одно и то же. Их любовь он завоевал.

Сожми же крепче зубы и, закусив до крови
Обветренные губы, лови себя на слове.
Ты вознесёшься снова к заоблачным чертогам.
В начале было Слово, и слово было Богом.

2003